

Евгений Голубовский

Верность одесскому братству

Вспоминаю, сколько лекторов общества «Знание» в далекие годы кормились с темы «Есть ли жизнь на Марсе?». Нечто подобное мне напоминает сегодня вопрос: была и есть ли одесская литературная школа? Мне кажется, неповторимость и узнаваемость Бабеля, Ильфа, Петрова, Олеси, Катаева, Жванецкого как единого «одесского текста» у читателей давно уже не вызывает сомнений. У грамотных читателей, которых все меньше и меньше.

Меня же волнует несколько иная проблема. Сосредоточившись на двух десятках фамилий писателей, ставших широко известными, мы забываем о «свите», без которой трудно представить королей. О литературном фоне, бэкграунде, как принято нынче говорить. К сожалению, до сих пор не изданы книги Петра Сторицына, Георгия Цагарели, Эскеса (Семена Кесельмана)... Их произведения можно (и нужно!) собрать по одесской периодике.

Но был в Одессе поэт, младший современник одесситов, ставших уже известными литераторами, писавший во второй половине 20-х – первой половине 30-х годов, которому не удалось опубликовать при жизни ни строки. Звали поэта Петр Кроль.

Впервые я услышал это имя от ленинградского поэта, бывшего одессита, Всеволода Азарова более тридцати лет тому назад.

– По гамбургскому счету, – рассказывал Всеволод Борисович, – Петя был самым одаренным поэтом среди нас, молодых, входил в группу «Перевал», которых тогда именовали «попутчиками». В семнадцать-восемнадцать лет он был как ребенок, мог часами читать наизусть стихи символистов, акмеистов, футуристов, увлекался историей и философией, особенно Шопенгауэром.

Тогда Всеволод Азаров прочитал мне по памяти стихотворение Петра Кроля «Виноградарь». Я запомнил его первые строки: «Виноградарь устал до смерти, виноградарь устал до жизни, он покинул свой виноградник...».

Уже позднее, раздумывая о Петре Кроле, я перечитал «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра и там нашел фразу, которая, возможно, и подтолкнула к созданию «Виноградаря»: «Смерть так же естественна, как жизнь».

В 1987 году вышла книга мемуаров Всеволода Азарова «Ветры нашей молодости», он прислал ее мне из Ленинграда в Одессу. Добрая, теплая, очень искренняя книга. К счастью, уже началась перестройка, и можно было писать без страха и умолчаний. В этой книге была страница о Петре Кроле. О том, что в начале 1930 года Петя (так называли юного Кроля друга) приехал в Москву, показал в «Московском комсомольце» стихи Осипу Мандельштаму, который работал в газете литконсультантом. Осип Эмильевич принял его радушно, называл по имени-отчеству – Петр Михайлович (наверное, впервые в Петиной жизни), но посоветовал с этими стихами никуда не ходить, а тихо вернуться в Одессу, от греха подальше.

Рассказ Всеволода Азарова существенно дополняют воспоминания Семена Израилевича Липкина из беседы с Аленой Яворской, заместителем директора по науке Одесского литературного музея. «Это был мой самый близкий друг, – Семен Израилевич оживляется еще больше. – Мы были сверстниками, остальные – намного старше». Липкин уточняет: Кроль – не одессит, его родители переехали в Одессу во время первой мировой войны. В прошлом – люди обеспеченные, все потеряли. Отец был бухгалтером. Петр учился в Одесском университете, был очень неуклюжим, из-за этого у него были плохие отношения с преподавателем военного дела. В начале тридцатых приехал в Москву, Семен Израилевич (у него Петя жил в Москве) познакомил его с Мандельштамом, который очень тепло принял Кроля. Человек, фантастически не приспособленный к жизни, «у него не было силы для этого», – говорит Липкин, Кроль никак не мог устроиться на работу, как бы ни помогали ему друзья».

Кроль послушался Мандельштама и отправился назад, в Одессу. Сняли его с поезда. У него не было документов. Он нигде не

работал. И на годы сослали беспомощного, неуравновешенного, возможно, не совсем адекватного юношу в лагеря.

Неожиданное подтверждение: в конце 90-х годов, читая новый роман Юрия Давыдова «Бестселлер», заметил, что среди его героев, среди зеков, мелькает образ Петра Кроля:

«И в тех же вот краях-широтах мы, зеки... Еврей, замученный чекистами, затем приконченный нацистами, Кроль, Петр Кроль, поэт несчастный и безвестный, а значит, и высокой пробы, не хныча... валит древесину в груды Весь день и позже, до зари: Осину – дерево Иуды, Его боятся упыри».

А несколькими строками раньше, в этой же главе, Юрий Давыдов пишет: «Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа». Сказано как будто о Петре Кроле.

То ли в 1939-м, то ли в 1940-м Петр Кроль вернулся из лагеря в Одессу, жил у сестры, работавшей продавщицей в книжном магазине на Дерибасовской. Жили бедно, на одну ее зарплату. Петя писал стихи.

А потом началась война. Оккупация. Нет, не прав Шопенгауэр. Смерть не естественна. Особенно в гетто.

Но это все рассказ о жизни и смерти. А где стихи? Не осталось ни одного листика, ни одного стихотворения. Вернее, не осталось бы... Если бы не верность одесскому братству. Несколько поэтов, любивших стихи Петра Кроля, знавших многое на память еще с двадцатых годов, в шестидесятые годы решили восстановить их. Над этим работали Всеволод Азаров, Сергей Бондарин, Семен Кирсанов, Семен Липкин.

Сегодня машинопись стихов П. Кроля есть в Одесском литературном музее, есть у меня – я получил ее в подарок от Всеволода Борисовича Азарова.

Семен Израилевич Липкин рассказывал Алене Яворской, что в 80-е годы два стихотворения Кроля он опубликовал в «Литературной газете». В Интернете мне не удалось их найти, как и какие-либо отклики на публикацию (если они были).

Это и побудило меня предпринять новую попытку вернуть в литературу не только имя, но и стихи. Тем более что Одесский литературный фестиваль пробудил у многих желание шире взглянуть на «одесский текст». В моем распоряжении только ранние стихи совсем юного Петра Кроля за 1925-1928 годы. Но уже в них ощущается его своеобразие.

Петр Кроль

* * *

Неба глаз слегка лишь тучами подведен,
На асфальте только тонкой тени грим.
Я хочу, чтоб город в каменистом плеле
Вспыхнул и чтоб крикнул кто-нибудь: «Горим!»
Чтобы дернулся город, заплывший в ласке и лоске,
Чтобы, звездами падая на пол, набатом звенело стекло,
Чтобы быстро бежали и тыкались люди в киоски
И чтоб зарево в небо густейшею кровью текло.
Но этих желаний спугнет кровожадную птицу
Спокойная ночь, отогнав докучающий зной
И ночью во мне уж ничто не бушует, но мстится,
И ночь, как служанка, подняв опахало, шагает за мной.
И тьма, как ярмо на покорно протянутой вые,
И снова запрячется месяц, и снова не видно ни зги.
И вот при свете луны, как белый листок, мостовые,
И что-то на этом листке таинственно пишут шаги.
В городе знойном это бывает так редко.
Вижу заглохших стремлений запущенный сад,
Слышится голос могучий далекого предка,
Суровым и властным призывом зовущий назад.
И кажется, город исчезнул с его мостовыми,
На месте города только огромная гать,
И мир не родился или давно уже вымер,
А я только буду шагать, и шагать, и шагать.

1926

Шопенгауэр

В трактире шум, мелькают кружки,
Усталый бурш храпит в углу.
Вслед затянувшейся пирушке
Остаток пива на полу.

И, прорезаясь в бархат гула,
В разноголосицу и смех,
Проходит жирная Урсула
И трубками обносит всех.
Гуляки пьют и воют «Прозит!»,
И лишь за столиком одним
Старик угрюмый трубки просит
И кольцами пускает дым...
В трактире не мелькают кружки,
Усталый бурш проснулся вдруг,
След пива засыпают стружки,
И старика замкнули в круг.
И дыма серые волокна
Ползут назойливо в глаза,
И в эти маленькие окна
Уже колотится гроза.
Его сверкающие речи
И чубука ритмичный стук.
На старика худые плечи
Надет потрепанный сюртук.
И так беспомощно повисла
Трясаясь, седая голова,
Но беспощадны, словно числа,
Его жестокие слова,
Его стальные силлогизмы.
Но ветер стукнулся в окно,
В стакан граненый, в виде призмы,
Налито старое вино.
И кельнер мчится меж столами.
Старик угрюм, пора домой.
От ветра в лампе гаснет пламя,
И зал охвачен мягкой тьмой.
Пусть пьют веселые гуляки
И слышен двери резкий стук.
И он идет в грозу и слякоть,
Одернув старенький сюртук.

1927

Осень

Скучно! Деревья в желтой осенней оправе,
Сморщился день, постарел, поседел и усох.
След слишком резкий нога моя врезала в гравий,
Гравий податлив и мягок, как влажный песок.
Я нездоров, и погода уж слишком сырая,
Слишком сыра и пронзительна. Слишком туга,
Вьется аллея в саду, как меч самурая,
Кто-то аллею согнул, и стала она как дуга.
Ворон оставшийся болен, но все-таки важен,
Он неподвижен и важен, как древний друид,
Старый фонтан покрывается сетью бесчисленных скважин –
Восемь уж лет, как он ничего не струит.
Что же, домой? Да и дома не слишком-то сладко,
Гофман, Брамбеус, наскучивший «Вечный жид»,
В книгу аббата Прево вложена кем-то закладка,
Очень и очень желта, но на той же странице лежит.
Часом вечерним идти по аллее все жутче,
Ветер к скамейке несмело швыряет листья.
Эту аллею, наверное, выдумал Тютчев,
Листья как строки – суровы, легки и чисты...

1927. Осень

Сорочья песня

И не от ветра, не от хруста
Привет мне шлет
Кривой забор, закат, и пустошь,
И тонкий лед.

1928. Январь

